



А. В. ТИМИРЁВА

**<«...Не грустите и не впадайте
в слишком большую мрачность
от окружающей мерзости»>**

<Из писем А. В. Тимирёвой А. В. Колчаку>

*П[етрогра]д 7 марта 1918 г.
Фуришадтская, 37*

Милый Александр Васильевич, далекая любовь моя. Сегодня яркий солнечный день, сильная, совсем весенняя оттепель — все имеет какой-то веселый, точно праздничный вид, совсем не соответствующий обстоятельствам. Просыпаемся с мыслью — что немцы? И весь день она составляет фон для всего остального. Эти дни — агония, хоть бы скорее конец, но какой конец, Александр Васильевич, милый, как жить после всего этого? Я думаю о Вас все время, как всегда, друг мой, Александр Васильевич, и в тысячный раз после Вашего отъезда благодарю Бога, что Он не допустил Вас быть ни невольным попустителем, ни благородным и пассивным свидетелем совершающегося губельного позора. Я так часто и сильно скучаю без Вас, без Ваших писем, без ласки Ваших слов, без улыбки моей безмерно дорогой химеры. У меня тревога на душе за Вас, Вашу жизнь и судьбу — но видеть Вас сейчас, при том, что делается, я не хочу. Я не хочу Вас видеть в городе, занятом немецкими солдатами, в положении полувоенно-пленного, только не это, слишком больно. Когда-нибудь потом, когда пройдет первая горечь поражения и что-нибудь можно будет начать на развалинах нашей Родины, — как я буду ждать Вашего возвращения, минуты, когда опять буду с Вами, снова увижу Вас, как в последние наши встречи.

8 марта.

Мой дорогой, милый Александр Васильевич, мне хочется говорить с Вами — на душе так нехорошо. Сегодня пришло из Кисловодска письмо на имя прислуги Сафоновых. Отец мой¹ очень болен, я боюсь, что хуже, чем болен. Письмо от 9-го, а 5-го февр[аля] (ст. ст.) был у него удар и потом очень плохо. Пишет кухарка — sans menagement [неосторожно, без пощады (фр.)].

С тех пор прошло 2 недели, что там теперь? Почты фактически нет, телеграфа тоже. Мне страшно горько подумать об этой утрате, отец мне очень дорог, даром что не было, кажется, дня без столкновений, когда мы жили вместе. Но ведь это же вздор, у него характер крутой, а я тоже не отличаюсь кротостью. Мы же любили, и жалели, и понимали друг друга лучше и больше, чем привыкли показывать. Уж очень тяжело дался ему этот последний год, да и с тех пор, как брат мой был убит 2 года тому назад, его точно сломило. Если бы Вы знали, как больно было видеть это, как человек огромной воли и характера как ребенок плакал от радости, от волнения, от жалости. И я его так давно не видала — почти год, с тех пор, как Вы были здесь в апреле. Милый мой Александр Васильевич, может быть, мне не надо вовсе так писать Вам, но мне очень горько и, видит Бог, нет никого более близкого и дорогого, чем Вы, к кому я могу обратиться со своим горем. Вы ведь не поставите мне в вину, что я пишу Вам такие невеселые вещи, друг мой. И еще — совсем больна тетя Маша Плеске, ей очень нехорошо. Если с ней что-нибудь случится, для меня это будет большой удар. Во многие дурные и хорошие дни она умела быть больше чем другом мне, и у меня всегда было к ней чувство исключительной нежности и близости душевной. Господи, хоть бы что-нибудь знать. Простите меня, моя любимая химера, мне весь вечер пришлось сидеть с посторонними людьми и делать любезный вид, слава Богу, я одна сейчас и могу говорить с Вами одним не о беде, погоде и политике, а о том, что тяжелым камнем лежит у меня на сердце. В эти горькие минуты чего бы я не дала, чтоб побыть с Вами, заглянуть в Ваши милые темные глаза — мне было бы все легче с Вами.

10 марта.

Дорогой Александр Васильевич!

Сегодня я получила письмо из Кисловодска — отец мой умер 14-го — 27 фев[аля], не приходя в сознание. Как странно терять человека, не видя его, — все точно по-старому, комната, где он жил, его рояли, его вещи, а я никогда его больше не увижу.

Мы все, дети, в сущности, не много видели отца — всегда он был в разъездах; дома много работал. Но с его смертью точно душу вынули из нашей семьи. Мы все на него были похожи и лицом и характером, его семья была для нас несравненно ближе, чем все остальные родные. Александр Васильевич, милый, у меня беспокойно на душе за Вас эти дни. Где Вы, мой дорогой, что с Вами? Так страшно жить, и самое страшное так просто приходит, и «несчастья храбры — они идут и наступают и никогда не кажут тыла». Только бы Господь Вас хранил, радость моя, Александр Васильевич. Где-то далеко гудят фабричные

гудки — какая-то тревога. Но не все ли равно. К этому и ночной стрельбе мы так уже привыкли...

Правительство сегодня выехало в Москву, и сейчас же в городе начинается брожение. Рыщут броневые автомобили — как будто белой гвардии, действующей в контакте с немцами; по крайней мере красная гвардия тщится с ними сражаться. Но ее очень мало, и надо полагать, что не сегодня-завтра П[етрогра]д будет в руках белой гвардии, состав кот[орой] для меня несколько загадочен. Откровенно говоря, все это меня мало интересует. Ясно, что революция на излете, а детали мерзки, как всегда. Я и газет не читаю, заставляя С. Н. излагать мне самое существенное.

Володя Р.² все еще в тюрьме, и неизвестно, когда его выпустят, т[ак] к[ак] следствия по его делу еще не было (2 недели). Е. А. Беренс играет довольно жалкую роль большевистск[ого] техника по морским делам, осмысленность которой трудно объяснить, т[ак] к[ак] флота фактически нет уже довольно давно — вся команда разбежалась. Господи, когда же будет хоть какое-нибудь разумное дело у нас — ну пусть немцы, пусть кто угодно, но только не этот отвратительный застой во всем. Я писала Вам, что, может быть, поеду во Владивосток; из этого ничего не выходит, по крайней мере скоро, да, верно, и вовсе не выйдет. Что я буду делать — не знаю. Может быть, поеду к своим в Кисловодск, вернее, что останусь здесь. Это не важно, все равно Ваших писем я не жду — где же их получить, а остальное мне все равно.

До свиданья, пока — спокойной ночи, дорогой мой Александр Васильевич.

Да хранит Вас Бог.

[Не ранее 13 марта 1918 г.]

[Датируется по времени публикации цитируемого некролога Сафонова.]

Милый мой Александр Васильевич, о ком ни начнешь думать, все так плохо: и моя мать со своим огромным горем, которой я ничем не могу помочь из-за этого проклятого сообщения, и несчастное семейство Плеске, и Володя Р. в одиночке, и Вы, моя любимая химера, неизвестно где, от которой я отрезана на такое неопределенное время. Как ни странно, я мало думаю о смерти отца; мне кажется, я просто ей не верю — часто, когда мне надо говорить о ней, я должна бороться с чувством, что на самом деле это только так, а он жив. Нельзя поверить этому, верно, если не видишь сама. Я все вспоминаю его живого, точно он в отъезде и вернется; странно, не правда ли?

Появилось в газетах несколько некрологов, написанных в том газетно-пошловатом стиле, кот[орый] отец глубоко презирал. Но в одном

рецензент, вряд ли очень даже доброжелательно, обмолвился довольно замечательной характеристикой: «это был полководец, ведущий оркестровое войско к победе, в нем был какой-то империализм, что-то автократическое исходило из его управления» и «его деятельность не всегда отличалась вниманием к коллегиальному началу»... Впрочем, таково резюме, можно до некоторой степени «извинить» его необыкновенное упорство, служившее высоким целям и приводившее обычно к блестящим результатам, несмотря на явно контрреволюционный образ действий (это не говорится, а подразумевается, отдавая дань духу времени, конечно).

Да, если был контрреволюционер — до глубины души, то это был мой отец. Если революция разрушение, то вся его жизнь была созиданием, если революция есть торжество демократического принципа и диктатура черни, то он был аристократом духа и привык властвовать [над] людьми и на эстраде, и в жизни. Оттого он так и страдал, видя все, что делалось кругом, презирая демократическую бездарность как высокоодаренный человек, слишком многое предвидя и понимая с первых дней революции.

Простите, Александр Васильевич, милый, что я все возвращаюсь к тому же, невольно выходит так.

Сегодня я была в «Крестах», отнесла пакет с едой Володе Р., но его не видела. Хочу получить свидание, но для этого надо ехать в Военно-революционный трибунал за пропуском; т[ак] к[ак] никаких родственных отношений у меня к нему нет, то я просила его сестру сказать ему, чтобы он не слишком удивлялся, если к нему явится его гражданская жена: теперь ведь это просто, достаточно записи на блокноте или телефонной книжке для заключения брака, а повод, согласитесь, самый основательный для получения пропуска.

2 раза в неделю minimum назначается день для входа в П[етрогра]д, виновата, в вольный торговый город П[етроград] или П[етроград]скую красную-крестьянско-рабочую полосатую коммуну — кажется, полный титул. Но т[ак] к[ак] никто не знает дня и часа, то всего вернее, что просто в один очень скверный день мы увидим на каждом углу по доброму шутману и все пройдет незаметно. Как далеки Вы ото всего этого, Александр Васильевич, милый, и слава Богу, как далеки Вы от меня сейчас — вот это уже гораздо хуже, даже вовсе плохо, милая, дорогая химера.

А Развозов выбран опять командующим «флотом», если можно так назвать эту коллекцию плавающих предметов; вот Вам торжество коллегиального принципа в последнюю минуту. Господи, до чего это все бездарно. Во главе обороны П[етрогра]да стоит ген[ерал] Шварц; Вы его знаете, артурский, про кот[орого] говорят, что он собирается наводить порядки и едва ли не член имеющего родиться правительства.

Но все это теперь так неинтересно. Нельзя же повесить человека за ребро на год и потом ожидать от него сколько-нибудь живого отношения к событиям. Поневоле придешь к философско-исторической точке зрения, которую я, несмотря на это, все-таки презираю всей душой, — грош цена тому, что является результатом усталости душевной.

13 марта.

Вчера П[етрогра]д «праздновал» годовщину революции: *c'etait luqubre* [как это мрачно (*фр.*)]. Против ожидания — никаких манифестаций, на улицах мало народу, магазины закрыты, с забитыми ставнями окнами, и единственный за последнее время день без солнца. Праздник больше был похож на панихиду, да так оно и есть на самом деле — революцию хоронят по 4-му разряду: покойник сам правит. В городе по-прежнему ерунда, ничего не разберешь. Все так глупо, что нарочно не придумаешь такого. А немцы сделали высадку в Або и, кажется, собираются двигаться на П[етрогра]д с двух сторон — из Финляндии и со стороны Нарвы. Впрочем, говорят, что и Бологое более или менее в их руках — при помощи военнопленных.

21 марта.

Милый, дорогой Александр Васильевич, кончаю наспех уж очень давно начатое письмо. Я узнала, что в П[етрогра]де сейчас Кромис³. Вы его, верно, помните, он командовал сначала английской подводной лодкой, потом был чем-то вроде начальника дивизиона английских подлодок. Он бывает в Генморе у Беренса и, очевидно, имеет сношения с Англией — может быть, это письмо и дойдет как-нибудь Вам в руки, Александр Васильевич, милый. Оно не нравится мне, я хотела бы писать Вам совсем иначе, но все равно, я боюсь упустить случай. Где Вы, радость моя, Александр Васильевич? На душе темно и тревожно. Я редко беспокоюсь о ком-нибудь, но сейчас я точно боюсь и за Вас, и за всех, кто мне дорог. Со смертью отца несчастье так близко подошло, словно оно открыло у меня в душе так много тревоги и любви. Нет времени писать — простите эти несвязные строки. Господи, когда я увижу Вас, милый, дорогой, любимый мой Александр Васильевич. Такое чувство, что с нашим разгромом приблизился общий мир. Ну, хоть это. Ведь Вы постараетесь повидать меня, когда вернетесь, даже если я буду не здесь? Свой след я постараюсь Вам оставить. Да хранит Вас Господь, друг мой дорогой, и пусть Он поможет Вам в Ваши тяжкие дни. Очень трудно, стараюсь быть занятой, как только могу, тогда как-то лучше все-таки. До свидания — если бы поскорей.

Анна

17 сент[ября] [1918 г.]

Милый мой, дорогой Александр Васильевич, это письмо до некоторой степени *faire-part* [письмо с извещением (*фр.*)]; приготовьтесь выслушать торжественную новость, я таки заказала шубу.

Вы навели на меня такую панику, что, проснувшись сегодня утром, я сломя голову бросилась в Токио ее искать. Натурально, ничего не нашла и с позором вернулась в Иокогаму. Тогда с горя пошла к своему китайцу, кот[орый] и обещал мне сделать шубу: 1) на белке, 2) на вате, 3) крытую сизюлевым [*Над словом надписано: c'est pour vous — «это для Вас» (фр.)*] сукном — через 3 недели за 275 монет. Воротник мой. Верно, негодяй сильно наживается на этой постройке, очень уж любезен что-то. Ну вот.

Как Вы едете, милый? Я надеюсь, что на пароходе не пассажирки, а старые ведьмы, все классические и у всех слоновья болезнь, что Вы вошли в алианс с Renault, как подобает, и Вам не скучно. Мне как-то глупо быть без Вас, и я умучена от шубы, но потребности в постороннем обществе не ощущаю. Сиж у себя, шлепаю картами и почиываю Dumas pere'a [Дюма-отец (*фр.*)]. Но это не «Trois mousquetairs» [«Три мушкетера» (*фр.*)] — и мало меня утешает. Пока Вы были здесь, я как-то мало обращала внимания на здешнюю публику, но это ведь сплошь наши за границей. Гвалт и разговор — как перед кофейней Зазунова в Харбине: иена — рубль, иена — рубль...

Маленький кошмар...

Вот, голубчик мой, Александр Васильевич, все, что имею Вам сообщить за то долгое время, что мы не видались, — со вчерашнего вечера. Завтра с утра думаю уехать в Атами, где и буду жить в роскоши и дезордре [от *фр. desordre* — смута, беспорядок] — как полагается уж.

Милый Александр Васильевич, я буду очень ждать, когда Вы напишете мне, что можно ехать, надеюсь, что это будет скоро. А пока до свиданья, милый, будьте здоровы, не забывайте меня и не грустите и не впадайте в слишком большую мрачность от окружающей мерзости. Пусть Господь Вас хранит и будет с Вами.

Я не умею целовать Вас в письме.

Анна

18 сент[ября] [1918 г.]

Милый, дорогой мой Александр Васильевич, вот я и в Атами. Вечер темный, и сверху сыплется что-то, а море шумит как-то мрачно — точно сосны при ветре. Сиж я одна, читать Dumas pere'a как-то мне не хочется, что мне делать? Поставила с горя на стол добрый иконостас из Ваших фотографий и вот снова Вам пишу — испытанное на долгой практике средство против впадения в чрезмерную мрачность.

Голубчик мой, Александр Васильевич, я боюсь, что мои письма немножко в стиле m-lle Тетюковой⁴, но Вы примите во внимание, что

я до некоторой степени в одиночном заключении, т[ак] ч[то], понятно, приходится говорить все больше о себе.

Да, сегодня я, наоборот, провела часа два в очень оживленном и симпатичном обществе, а именно, решив, что автомобиль для missis only [только для госпожи (*англ.*)] жирно будет, я на нем доехала только до Одавара, а оттуда на поезде. Паршивый вагонишко битком был набит местной демократией, т[ак] ч[то] я уж приготовилась стоять торчмя до Атами. Однако ж демократия оказалась необычайно любезна — вонзила меня между двумя толстыми японками — одна все время подбирала то, что из меня по обыкновению сыпалось: пальто, деньги, платок, билет... а другая обмахивала веером. Какой-то местный грамотей втирал остальной публике очки — разговаривал со мной по-английски, вроде меня. Все очень веселились, хохотали как маленькие. Потом у одной японки появился в руках краб с паука величиной примерно — тут уж восторгу не было границ: все его рассматривали, дали и мне. Потом на станции поймали кузнечика — поиграли и отпустили. Чисто дети — а половина седых стариков. На станции купила леденцов на двугривенный и скормила добрым соседям. Расстались лучшими друзьями. Я даже получила от одной дамы в подарок струны для самсина (?) [*Над словом надписано: почему? отчего?*] и визитную карточку на чистейшем японском диалекте.

Вот Вам и alliance russo-japonaise [русско-японский союз (*фр.*)]. Еще вчера вечером в Июкогаме подружилась с рикшей № 33: было скучно, и я поехала кататься по городу. Рикша был участливый — посмотрев на меня, спросил, где мои папа и мама, и повез в кинема — самый для рикшей. Шла американская комедия, глупо до протокола, но смешно.

Таковы мои демократические занятия и знакомства в Вашем отсутствии, поклонник аристократического принципа.

Отель почти пустой, т[ак] ч[то] встречена я была с энтузиазмом. Совсем прохладно, да и дождь, сезон, видимо, кончается.

Меня в отсутствие [Вас] перевели в Вашу комнату, не знаю почему, т[ак] к[ак] № 8 стоит пустой. Верно, решили, что будет с меня и маленькой койки. Я не протестую, все равно терраса [*Над словом надписано А. В. Тимирёвой: Как пишется — одно «с» или 2?*] вся в моем распоряжении и места довольно. Завтра утром Вы во Владивостоке. Милый мой, дорогой, я знаю, Вам очень тяжело будет теперь и трудно, и это глупое письмо о крабах и кузнечиках совсем не может соответствовать, но Вы не будете сердиться за этот вздор, не правда ли? Голубчик мой милый, до свидания пока. Пусть Господь Вас хранит всегда на всех путях, я же думаю о Вас и жду дня, когда опять увижу и поцелую Вас.

Анна.